



Рязань
Издатель Ситников
2008



ИРИ-
НА

КРАСНО-
ГОР-
СКАЯ



ВЕ-

ЛИ-

КАЯ
КНЯГИНЯ

РАЗАН-

СКАЯ

ББК 84

К78

Красногорская, И.К.

К78 Великая княгиня Рязанская: исторический роман / ред. Т. Банникова; худож. И. Ситников. — Рязань: Издатель Ситников, 2008. — 432 с.: ил.

ISBN 978-5-902420-21-7

«Великая княгиня Рязанская» — исторический роман-хроника о московском и рязанском великокняжеских домах, которые в XV веке, в период ослабления, а потом и окончания татаро-монгольского ига, были связаны семейными узами, но находились в политическом противостоянии. В центре повествования образ одной из наиболее ярких представительниц рода Рюриковичей сестры Ивана III Анны, ставшей великой княгиней Рязанской. Эта незаурядная женщина вошла ещё и в историю искусства как автор или вдохновительница создания знаменитой пелены «Евхаристия», хранящейся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

ББК 84

Автор сердечно благодарит Э.Н. Никишкина за помощь в издании книги.

ISBN 978-5-902420-21-7

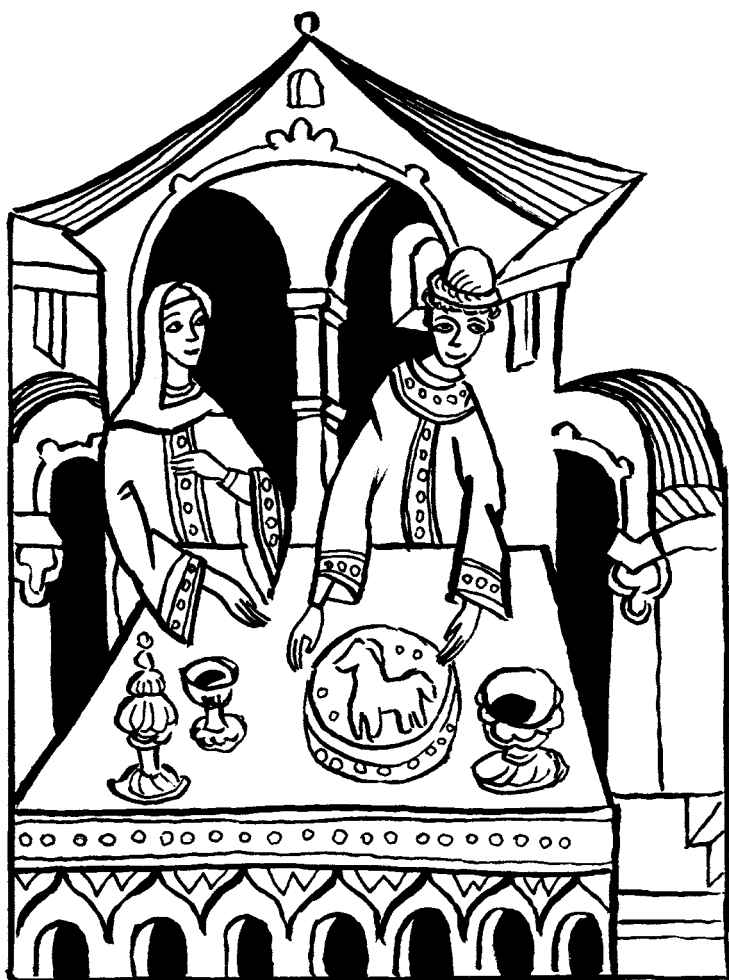
© Издатель Ситников, 2008

© Красногорская И.К., текст, 2008

© Ситников И.Н., иллюстрации, 2008

© Ситников К.Н., оформление, 2008

ЧАСТЬ I
ДОЧЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
МОСКОВСКОГО



Е

щё-ещё-щё-щё-щё!

— Марьюшка, да ухватись же за рушник! Упрись, упрись в меня ножками. Да не сюда, не сюда — в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица небесная, помоги!

Свекровь и бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Московской Марии Ярославны.

— Курицу бы теперь, несущку...

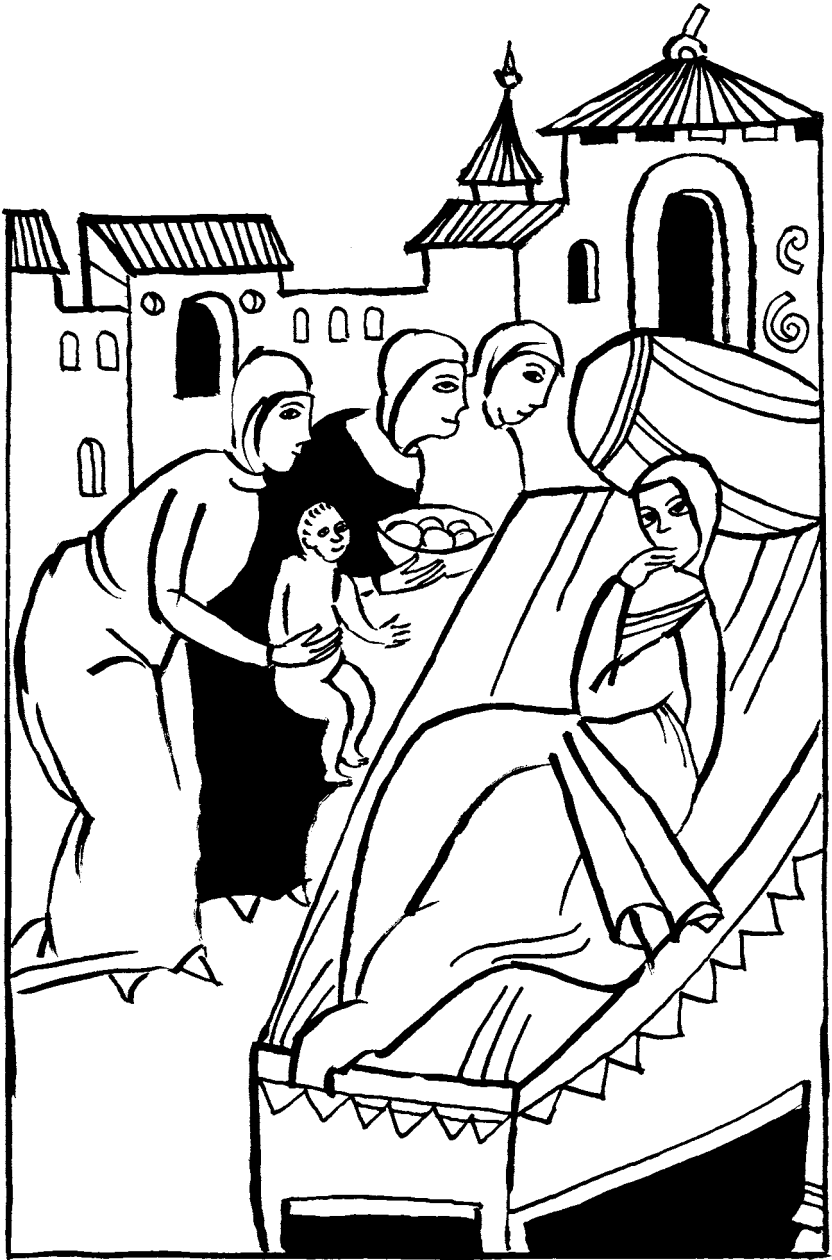
— Да где ж её возьмёшь в такую пору? Побрызгайте на лицо! Скорее! Да не так, всё вас, неумех... Ноги поднимите. А ветер-то, ветер. Всё из-за него. Ни зги не видать. Ещё свечей! Эх, не к добру днём свечи жечь. Да разве в такую непогодь... Слава тебе, порозовела. Ещё-щё-щё... Нет, опять. За Тимошкой беги, блаженным. Да икону захвати, ту, что восет в огороде нашли, чудотворную...

— Перед ней князь молится.

— Скажи, я велела.

Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. Едва угадывалась на ней святая Анна, большеглазая, тонконосая, с указательным пальцем на крохотных губах.

— На грудь клади.



— Так не представилась же...

— Клади, кому говорят!

Вбежал Тимошка. Волосы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, закудахтал несущую. Помчался вокруг постели роженицы. Всё быстрее, быстрее, быстрее.

— Ещё-ещё-щё-щё-щё! Ну, наконец-то! Слава тебе, царица небесная! — Софья Витовтовна утёрла рукавом пот со лба, грузно осела на подставленную бабкой скамью.

И разъяснило в одночасье.

Бабки и близкие княгини не сразу это заметили, занятые теперь уже новорождённой: она не желала кричать. Поняли, что посветлело в ложнице и ветер стих, когда княгиня Мария Ярославна неожиданно ясно и громко сказала:

— Благодать!

Этим вот впервые за три дня без крика и стога произнесённым словом и нарекли девочку. То есть нарекли, конечно, иначе — Анна. Но всем известно было тогда, на исходе зимы 1451 года, что это одно и то же.

Имя тихое, мягкое, словно шелест майской травы. Так же звали и родную, покойную тётку девочки, выданную за византийского царевича и ставшую потом женой императора, так звали и прабабку её, мать Софьи Витовтовны.

«Анна-Анна», — вызванивали колокола над Московским Кремлём; «Анна-Анна», — тоненько вторили им колокольцы на дугах быстрых княжеских коней, увозивших великую княгиню-мать Софью Витовтовну от великокняжеского терема. Княгиня отъезжала к себе на двор, в Ваганьково, отсыпаться.

Искрились сугробы, сверкали инеем деревья. Хохлатые сойки обклёвывали всё ещё рясную рябину. Ягоды осыпались в снег, складывались на нём в нарядные узоры.

У лобного места на Красной площади собрался праздный люд. Грызли конопляные семечки, уминали катанками снеж-

ные намёты. Ждали. Выстроились в очередь, ожидая казни (кому палец, кому руку, кому и голову под топор класть), воры, лихоимцы, разбойники.

Палач сметал с колод снег, и он порошился, белый-белый. Галдело, рассаживалось на крышах ближайших лабазов и лавок возбуждённое вороньё.

Перед санями великой княгини толпа нехотя расступилась. Осуждённые глядели на княгиню с надеждой, зрители с недовольством, зашептали, не очень таясь:

— Ну вот, принесла нелёгкая. Сейчас особое повеление объявит.

— Не иначе дитя народилось в княжеских хоромах. Вон ведь как звонарь благосит, надрывается прямо.

— А может, так явилась — поглазеть?

Княгиня подъехала к каменному возвышению. Тяжело поднялась в санях и крикнула зычно, удивительно зычно для своих преклонных лет — приближалось к восьмидесяти:

— Во имя святой Анны казнь ныне отменяю! Всех милую!

Палач метнул в колоду топор — сверкнуло лезвие, брызнули в снег деревянные крошки.

— Трухлявая, менять надо, — зло сказал палач и пнул колоду.

Едва успели нянюшки завернуть новорождённую в нагретые пелёнки и принести её в особую младенческую горницу, как вошёл в неё великий князь Василий.

Полюбоваться, взглянуть (может быть, удостовериться?) — ни один из этих глаголов не подходит, чтобы верно передать цель княжеского прихода. Несколько лет великий князь Московский Василий Васильевич был незряч и обзавёлся уже приставшим к его имени на века прозвищем Тёмный. Василий Тёмный.

По княжескому терему и подворью передвигался он к тому времени уверенно и споро. Хорошо помнил, где что стоит и лежит. Требовал, правда, чтобы у вещей сохранялось постоянное

место. Узнавал по шагам и дыханию домочадцев и слуг. Когда же ему предстояло с кем-нибудь знакомиться или принимать иноземных гостей, брал с собой старшего сына Ивана, мальчонку семи-восьми лет, и тот нащёптывал, как выглядит, как держится новый человек.

«Очи мои ясные»,— говорил о сыне князь, а дворня между собой называла княжича обидно: «Поводырь». Иван узнал прозвище и плакал. Чтобы не позорить сына, чтобы утвердить его право наследовать престол, Василий объявил его, десятилетнего ещё, своим соправителем. И перед ново-явленной сестрёнкой, которую отец бережно держал, Иван стоял, уже наделённый властью, и привычно, прилежно нащёптывал:

— Маленькая, с локоток. Личико шафрановое, круглое, как тыковка. Глаза закрыты. Носа нет. Почти. Одни ноздришки.

— Пригожая?

— Важная,— уклончиво ответил Иван, сестрёнка ему не понравилась, и добавил, чтобы утешить отца,— очень важная.

— Ничего,— усмехнулся князь,— к свадьбе выровняется. Положи-ка, Ванюша, княжну в зыбку.

Иван не мог дотянуться до зыбки, хотя и встал на цыпочки (зыбка, покачиваясь, уходила из-под рук), но помощи подскочившей няньки не принял, крикнул обиженно:

— Я сам, сам!

— Да сам, батюшка! Чего уж не сам,— поспешно согласилась нянюшка и, перепугавшись, что он не удержит сестрёнку, быстро опустила зыбку. — Клади полегонечку. Вот сюда, головкой на север.

— Не уроните ребёнка, ироды,— предупредил князь, когда девочку уложили.

— У иноземцев, сказывают,— заговорила нянюшка,— детишек с младенчества на лежанках пестуют. Они от...

— В зыбке — здоровее,— отрезал князь. — А вы, няньки-мамки, с княжны глаз не сводите. Да смотрите, чтобы её не сглазили. Девчонка хилая. Восьмушка пуда в ней, не более.

— Восьмушка с четвертью.

— Ну, четверть эта к вечеру плачем изойдёт. Кормилицу надёжную подобрали?

— Матушка твоя, великая княгиня Софья, сама её назначила.

— Пусть кормилица придёт после вечерни. Я на неё посмо... покажется. Заходить к вам буду каждый день.

Няньки поклонились в пояс.

— Идём, сынок, к матушке. Чай, уже можно, — и князь, опережая сына, поспешно направился к дверям, забирая одну-ко несколько правее.

— Косяк, ах, батюшки! Косяк! — всполошились няньки.

— Косяк! — передразнил князь. — Раскудахтались. По-набросали тут лохманины. Убрать немедля! — и, отбросив ногой половик, очень точно скользнул в узкую низенькую дверь.

— Ох, неладно как с половиком-то вышло, — сокрушалась младшая нянюшка, сворачивая его. — Великая княгиня Софья когда ещё велела ничего на пол не стелить.

— Так это в её тереме было. Марья не приказывала. Да и кто знал, что он сюда войдёт. С половиком-то теплее. Чего он так обеспокоился? Девка — а он: «Глаз не спускать».

— Прынцу посулил, — нянька засунула половик под лавку.

— Королевичу! — недобро усмехнулась вторая, старшая, складывая пелёнки и чистую ветошь в сундук.

— Ладушка моя, ягодка, молочка ещё не испробовала, а у неё уже суженый. Диво, да и только.

— И ничего дивного! У князей всегда так. Княжичу нашему Ивану семь годков было, а невесте его Марье, княжне тверской, и пяти не сравнялось.

— Так-то оно, так, да жалко — отдадут несмышлёную в чужую сторону.

— А ты не ной, не кормилица, — нянька колыхнула зыбку и тихо запела подблюдную:

Я ещё посижу,

Я ещё похожу

И суженого найду.

А суженый Анны незадолго до этого выбрался из такой же точно зыбки. Висела она на таком же кованом крюке, вбитом в матицу, и нигде-то за тридевять земель, а за двести вёрст от Москвы, в тереме великого князя Рязанского Ивана Фёдоровича.

Ещё до рождения младенцев их будущие отцы, двоюродные братья, внуки Дмитрия Донского Василий московский да Иван рязанский поклялись скрепить свою дружбу и верность женитьбой детей, если пошлёт Бог мальчика и девочку. В лихую годину давалась клятва. Василий пребывал тогда на подступах к Москве, в Твери, только-только освободившись из Углича, куда его было сослал, свергнув, другой двоюродный брат, галицкий князь Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Шемяка. С отцом Дмитрия, родным дядей, а потом с Дмитрием самим да с его братом воевал Василий за московский престол с малолетства, аж двадцать восемь лет.

Несколько раз за это время князья-родственники занимали Москву, изгоняли из неё великого князя Василия, по-родственному жалея, не убивая его. И в последний раз Дмитрий Шемяка обошёлся по-братски с израненным, недавно возвратившимся из татарского, казанского, плена Василием. Лишил всего-навсего зрения. Приказал изловить, когда тот был с сыновьями на богомолье в Троице-Сергиевском монастыре, и в Москве уже выколол ему глаза. Не в битве, не в драке, не случайно, вполне намеренно. И совесть его при этом несколько не мучила: точно так же поступил несколькими годами раньше Василий с родным братом Шемяки, своим тёзкой. Так что Дмитрий Юрьевич действовал по заповеди око за око. Точнее, наверное, — два ока за одно, потому что брат Дмитрия получил после наказания прозвище Косой, а Василий московский — более страшное, Тёмный. Месть мостью, но ведь ещё и надеялся Шемяка, что уж слепой-то двоюродный братец — ему не помеха. Был братцу тридцать один год.

Как выжил, как выдюжил он? Знали об этом, наверное, лекари его угличинские случайные, слуги наспех там подобранные, и жена, если позволили ей в Угличе быть с ним рядом. Прочих близких Василия разогнал Шемяка по разным отдалённым уголкам. Счастливо спасшиеся малолетние сыновья князя, Иван и Юрий, очутились, благодаря добрым людям, в Муроме. Матушка Василия, великая княгиня Софья Витовтовна, семидесяти пяти лет от роду оказалась в Чухломе.

Чухлома! Холодом каким веет от этого названия, и кажется, городок где-то в дальней дали, нет, он всего лишь близ Костромы. Но от него до Углича в те годы ох как непросто было добираться — и не накладывали материнские руки лечебных мазей на изувеченное лицо Василия, не капали в глазницы целебных, а скорее бесполезных капель. Но всё же года не прошло, оправился князь и в седле проделал неблизкий путь от Углича до Твери.

Прибывший в Тверь повидаться с ним Иван рязанский застал его хоть и незрячим, но готовым опять бороться за власть. Жалея Василия и любя, желая поддержать в лихую годину, сказал за дружеским ужином, сам дивясь своей душевной щедрости:

— Бude родиться у меня дочь, возьми, Василий, её в невестки, за Ивана.

— Ан, нет,— возразил тот и положил руку на предплечье сидящего с ним рядом князя тверского,— вот, Борису обещал, что Иван Марью его посватает. Да и Москве поддержка князя рязанского и впредь нужна, когда и нас с тобой не будет. За сына, сына твоего не рождённого выдам дочь свою не родившуюся. Даст Бог, они на свет явятся.

— Будь по-твоему,— легко согласился Иван, понимал, что за пристанище — укрытие, за поддержку Василий должен платить сполна тверскому князю. Отец Василия тоже в своё время заплатил пригревшему его Витовту женитьбой на Софье Витовтовне. И ещё подумал Иван: «Улита едет, когда-то ещё будет», — протянув руку в знак согласия.

Рука повисла над заставленным снедью столом.

— Эй! Зажгите свет! Доколе нам в потёмках сидеть? — вдруг крикнул Василий.

Вбежали слуги, шумно завозились у давно зажжённых светцов.

«Как же он дальше жить будет? — размышлял Иван, жалеючи. — Каши зачерпнуть сам не может, где уж ему править теперь. Да разве убогого до престола допустят! И кто повиноваться будет такому, в тёмной повязке?» — Он отвёл от Василия глаза.

Допустили...

Иван забыл про тётушку, великую княгиню Софью Витовтовну. Она тоже жалела Василия и, жалеючи, хотела для него только власти. Власти! И никак не могла ему простить, узнав, что в Троице-Сергиевском монастыре, моля своих недругов о пощаде, он клялся не выходить из кельи. Пусть в кельях сидят другие, думала она, не внуки славного Витовта. Не для того она выходила замуж за князя московского, чтобы дети её были смиренными иноками. Не один десяток лет она тратила силы, удерживая великокняжеский престол в своей семье. Да ещё девять детей родила. Последнего сына — когда надежды на наследника были ничтожны: в сорок четыре года, — а ведь сыновья рождаются у молодых. У неё их было пятеро, но долго на свете не задерживались они. Последнего выходила. Уберегла от болезней, от дурного глаза. Без мужа осталась, казалось, уже на исходе сил, в пятьдесят четыре года. Её в монастырь упечь собирались, а она за престол уцепилась и раз за разом возвращала на него сына, сперва малолетнего, а теперь старалась, надеялась вернуть, удержать незрячего. Не напрасно же, когда она разрешилась от бремени, знамение было иерею их церкви, голос свыше, — назвать младенца Василием. Василий — царский.

О великокняжеской власти для слепого, конечно, мечтать уже было нельзя. А в том, что сын ослеп, Софья Витовтовна винила и себя: дался тогда ей этот пояс. Да не сорви его она с

Васьки, мужниного племянника, всё, может быть, иначе повернулось бы. Но, кто знает, останься всё неразгаданным, не случились бы ещё худшие напасти, утешала она себя.

Ссора произошла на свадьбе великого князя Василия, которая как началась со ссоры, так ею и кончилась. Женился Василий, по материнскому велению, не на той, какую прежде собирался посватать и какую кое-кто из бояр прочил ему в жёны. Отец отвергнутой девушки, именитый боярин Всевожский, не раз Василия поддерживающий, доставший даже в Орде ему ярлык на княжение, конечно, разгневался, грозил Василию страшными карами и превратился во врага. Приятели боярина недоброжелательно перешёптывались на свадебном пиру, иные и вовсе не явились. Зато прибыли на пир двоюродные братцы Василия, Юрьевичи, наконец-то с ним помирившиеся, разнаряженные, напомаженные, молодцеватые. А на тёзке великого князя сверкала ещё и драгоценная опояска, так что гости на Ваську с его обновой больше, чем на молодых, смотрели.

Софью Витовтовну тоже заинтересовало богатое украшение — глаз от него не могла отвести. Заметил это старый боярин Пётр Константинович и пояснил:

— Пояс, что на Ваське, по праву наследования, твоему сыну принадлежать должен, великая княгиня. Поскольку этот самый пояс подарен был князю Дмитрию Донскому к свадьбе и подменён другим, победнее.

Софья Витовтовна не дослушала, как и кто подменил подарок, как попал он к Юрьевичам, подскочила к пляшущему Ваське — и рванула опояску.

— Вот и нашлась пропажа! У, ворюга!

Посыпались на пол яхонты, захрустели под ногами хмельных плясунов розовые жемчужины.

— Да ты что, тётушка, белены объелась? — взъярился Васька. — Отдай! — и грубо обхватил княгиню.

Пляска прекратилась. Дерущихся окружили бояре, скорморохи, дворовые. Никто не решался вмешаться. Сидящие за столом тоже медлили, опешив.

— Ой, да помогите же, убивают! — вырвалась княгиня, с растерзанным поясом метнулась к столу, схоронилась за спиной ничего не понимающего сына. — Слуги, эй, слуги!

Слуги наконец-то скрутили Ваську, поволокли в угол. Лаяли собаки. С перепугу долгожданно загорланили рыжие петухи, доставленные на свадьбу, чтобы криками своими отгонять злых духов от пирующих.

— Яхонты, мои яхонты! — вопил Васька.

Плясуны бросились поднимать. Рассовывали их по карманам. Шемяка, спяну не сообразив, что к чему, рвал карман на боярине Петре Константиновиче, дёргал его за седую бороду, орал дурным голосом:

— Ах, ты, старый опёнок, туда же — воровать!

Передрались. Юрьевичей вытолкали с пира врагами. Распря разгорелась сызнова.

Да и что греха таить, сама Софья Витовтовна потом подсказала поучить Ваську, по её подсказке стал он Косым. Только неправильно подручные сына подсказку истолковали — сокрушалась Софья Витовтовна. Она советовала на глаз сонному Ваське положить могильную кость или монету, снятую с века мертвеца, — враз бы он ослеп и безболезненно, а лентяи — сынки боярские — сделали всё иначе...

Знала Софья Витовтовна толк в магии. Это она надоумила Василия и великого князя рязанского Ивана носить при себе магниты. Магниты притягивали их, не давали ссориться.

Она же первая догадалась (жаль, думала, поздно), что кто-то подсунул другой, дешёвый пояс не из жадности — иной корысти ради: перенёс колдовски на него свои грехи и несчастья и передал Дмитрию.

Да, вспоминала она, беды в их семействе случались всякий раз, как доставали из сундука подменный пояс. Чтобы убедиться в догадке, призвала своего тайного, любимого ведуна, красивого, черноволосого, татарского вида парня. Посмотрел он на княгиню ласково-ласково своими продолговатыми, тёмно-карими, ну совсем, как у лесной косули, глазами, а на пояс

не взглянул даже. Обернув руку платком, бросил его в кубок венецианского стекла — покраснела вода в кубке, загустела кровью.

— Несомненно, на поясе порча, — сказал он оторопевшей Софье Витовтовне. — Надо, чтобы его семь дней поносила дева непорочная. Порча ей передастся.

— Ой, да господи! Ой, да кому же? — всполошилась Софья Витовтовна. — Да ведь жалко бедняжку. Нет у меня никого на примете. Разве что... Да нет, она же не дева... Ты уж, милоч, сам найди кого-нибудь.

Ведун нашёл дворовую девчонку. Вскоре от чужих грехов она начала тяжелеть и родила к весне... чёрного злого щеночка. Ведун сам его Софье Витовтовне показывал. Пояс вернул и опять при ней опускал в воду. На сей раз вода не замутилась даже. Но Софья Витовтовна на всякий случай понесла пояс в церковь освятить. А потом всё-таки велела его разобрать и Васькин — тоже. Камни да золото пожертвовала горожанам — отстраивать дома после развалившего Москву «великого труса». Кожу собственноручно сожгла в печке.

Из Васькиных жемчужин сделала монисто, немного к ним добавив своих, ну а те, с подменённого, за услуги подарила ведуну.

Москвичи знали историю княжеских поясов и сочувствовали княгине, были на её стороне. Да и как не поддерживать её, как забыть, что она вместе с ними переживала и моровую язву, и злейшую засуху, когда пересыхали самые глубокие колодцы, и другие напасти, была с ними и тоже страха натерпелась (конец света!) во время великого труса. Своя! Уже забылось, что дочь она литовского князя Витовта, навсегда прижилась на московской земле, глубоко корни пустила. А Шемяка — галицкий, разве он о москвичах печься будет.

Не удержался Шемяка в Москве.

А научился или не научился Василий самостоятельно черпать кашу — это ли важно! Важно, что через десять лет после рокового для него 1446 года он возглавил поход против свобо-

долюбивого Новгорода, и новгородцы лишились былой независимости.

2

До Переяславля Рязанского из Москвы по хорошей погоде княжеский поезд добирался четыре дня. Трижды ночевали путники в чужих неопрятных избах, где вместе с хозяевами, на удивление Анне, жили не только куры, но и хорошо подросшие за лето телята. В одной избе на стрехах гнездились очень много голубей. Они долго возились там в сумерках, противно стонали, сыпали вниз перья и помёт. Только уgomонились, через дымовую дыру принялся лить дождь. Хозяйский сынишка взобрался на крышу. Но прежде, чем закрыть дыру, просунул в неё нечёсаную голову, показал Анне язык и очень её понравился.

— Я, пожалуй, за этого парнишку выйду замуж, — сказала она доверительно своей невестке Марье, жене брата Ивана.

— Эх, глупая! — засмеялась та. — На кой ляд тебе чумазый холоп? Тебя королевич Бова посватает, с яхонтами на пальцах, в жемчугами шитом плечье, в красных сапожках.

— Нашли, девки, время болтать глупости, — шикнула княгиня Марья Ярославна. — Скорее укладывайтесь. Да не забудьте кошелю под голову положить. А ты никак опять с куклой! — пристыдила Мария Ярославна свою четырнадцатилетнюю невестку.

Великая княгиня была уже несколько дней не в духе. Во время ночёвок всё тревожились, хорошо ли двери заперты, не задремала ли стража. Сокрушалась, что дорога трудная, долгая. Опасалась татар, иных лихих людей. Боялась в челне переплывать Оку: вода мутная, мусор так и крутит.

— А тебе не всё равно, в какой тонуть, в мутной ли, в чистой? — пошутил князь.

Она обиделась, замолкла. Когда же благополучно переправились, принялась метаться на своём кауром коньке от князя к дочери с невесткой. Хотела убедиться, удобно ли им, правильно ли княжеская лошадь выбирает дорогу, в порядке ли у князя седло, будто сын Иван не следил. Спрашивала, мягко ли девкам в повозке, не растрясло ли их. Пересаживалась с коня в возок и обратно, ворчала о трудности дороги, о преждевременности поездки, пока князь не одёрнул:

— Перестань стенать, Марья. Иван — единственный мой любимый брат. Друг собиный. Не хоронить его хочу — живым уви... застать. Не зря же гонца посылал он, звал.

Анне дорога до Переяславля не казалась опасной. Светлой полоской, будто луч солнца по речной волне, бежала она с пригорка на пригорок. И Анна думала, как хорошо было бы зимой покататься с этих пригорков на салазках. Пенилась у обочины цветущая гречиха, блестели листвою весёлые перелески, ярко зеленела отрастающая отава. У одного поворота рос чудо-цветок: высокая, в рост человека, лоза вся в розовых венчиках.

— Смотри, Анята, цвет прямо как у меня на прялке, что Ванюша подарил! — изумилась Марья.

Придержали коней, чтобы полюбоваться, и подоспевшая Мария Ярославна пояснила, что цветок этот зовётся рожка, и занесли его на рязанскую землю, должно быть, чумаки с Украины, когда привозили соль.

— Хочу рожку, сорвите! — уросливо затянула Анна.

— Нет, — сказала княгиня, — пусть растёт, — и, свесившись со своего конька, огрела коренную.

Лошади рванули, увезли ревущую Анну от чудо-цветка.

Княжеский терем в Переяславле Анне показался немногим краше курной крестьянской избы: невысокий, деревянный, с затянутыми бычьими пузырями оконцами. Покои отапливались не по-чёрному, да и печи муравлёнными изразцами были изукрашены. А вот блохи, как и в тех нечистых избах, сразу же



на ноги кинулись. Только матушка, на удивление Анне, не возмутилась, как там, не кликнула сенную девку, чтобы вымела их полынным веником, — просто тряхнула юбками и поспешила в объятия тучной в своих красно-белых одеждах княгини рязанской. Она из-за тучности, видно, не успела встретить гостей на крыльце.

— Доброго здоровья, дорогая сестрица!

— Доброго здоровья, сестрица любезная, братец желанный. Легко ли доехали?

— Не заметили, как и домчались, — ответила княгиня московская, улыбаясь. — Только...

А княгиня рязанская, не дослушав, уже тискала Анну:

— Моя касаточка, моя ласочка! Притомилась, чай, в дороге?

Анна увертывалась от липких поцелуев, сучила покусанными ножками.

— Не дергайся, когда тётушка целует! — прикрикнула мать.

— Блохи, видно, покусали? — участливо спросила княгиня рязанская, опуская Анну на земляной пол. — Тьма их тьмущая нынче. Лето-то какое сухущее. Я уж все половики и скатёрки велела на солнце вывесить. Так что, не обессудьте, гости дорогие, что голо в горнице.

— Персидский порошок хорошо помогает, — сказала Марья из-за спины великой княгини московской.

— Да где же возьмёшь его? Ой, племяннички дорогие, с вами-те я и не поздоровалась, — княгиня рязанская раскрыла объятия, раскинула руки и стала похожа на клушу.

— Я пришлю, сестрица...

Тут два молодца ввели князя Ивана. Князь оттолкнул их и, еле передвигая ноги, сам направился к гостям, худой, давно не стриженный, в длинной посконной рубахе. Княгини бросились поддержать. Княжич Иван привычно подтолкнул отца. Обнялись, перецеловались, уселись за стол в красном углу. Неважно одетые слуги подали мёд и мятный квас — со свиданьем.

«Каков поп, таков приход», — подумала княгиня московская, отхлебывая из щербатой кружки.

— Вот, бог дал, и свиделись, братец.

— Свиделись... А я невестку к тебе привёз. Анна!

Анна оторвалась от матери, притиснулась к отцу, встала под его руку.

— Ну что, любя ли тебе? Пригожа ли? — с тревогой спросил Василий.

— Пригожа. Очень пригожа. А подрастёт, ещё краше будет. Косы длинные, русые, у висков кудряшки. Лицом кругла и светла. Брови тёмные, прямые. Глаза карие, строгие.

«Чего это дядька меня так рассматривает?» — не понравилось Анне. — Зачем обо мне рассказывает? — и догадалась: — Для отца, он-то меня никогда-никогда не видел, никогда-никогда не увидит», — и потёрлась щекой об отцовскую руку.

— Не балуй, дочка! А где же наш зять будущий, любимый? Где Аннин суженый? — спросил Василий весело. Один он не видел, как плох князь Иван, как ему худо.

— Схоронился где-то на подворье, — сказала княгиня рязанская. — Эй! Где же вы там?

Два молодца, как давеча князя, ввели не Бову-королевича расшитом жемчугами оплечье, с перстнями на пальцах — обыкновенного мальчишку, маленького, головастенького. Красные сапожки на нём всё-таки были. Он трепыхался в руках молодцев, пытался вырваться и напомнил Анне Петрушку, которого показывали скоморохи на Красной площади. Его подтащили к столу.

— Ты что же гостям не кланяешься? — строго спросил князь Иван, а княгиня заметила:

— Сыночек наш не так пригож, как ваша дочечка, — и погладила мальчишку по голове. Он дернулся (молодцы продолжали его держать) и сказал тихо, как-то безразлично:

— Укушу.

— А зятёк-то наш с норовом! — засмеялся Василий.

Княжич Иван смотрел на мальчишку с радостным изумлением, Мария Ярославна — с неудовольствием, Анну он возмущал: какой-то каржавенький озорник. Разве женихи такими бывают?

— Руки у него все в цыпках, и на лбу шишка, — сообщила она отцу громким шёпотом.

— Ай-да, шишку-те он сам себе набил. Как что не по нему, головой об пол бьётся, — пояснила княгиня рязанская.

— Он что, полоумный? — уже тише шепнула Анна.

— Помолчи, стрекоза! — приказал отец. — С лица воду не пить.

При чём тут лицо? — терпеть не могла Анна этой поговорки, как и другой, что также слышала от нянюшек и от родных чуть ли не с пеленок: стерпится — слюбится. Надулась, напустила брови.

— Не огорчайся, девонька, — сказала княгиня рязанская, — он хороший, добрый. Поцелуйтесь, детки, подружитесь.

— Горько! — выкрикнула раскрасневшаяся то ли от кваса, то ли от мёда Марья.

Мария Ярославна взглянула на неё строго. Дети целоваться не стали. А мальчишка ещё раз спокойно предупредил:

— Укушу.

Княгиня московская сидела с каменным лицом, изо всех сил стараясь, чтобы на нём не отразилось недовольство. Мальчишка балованный раздражал: свои не ангелы, но чтобы так уросить при гостях... Сейчас на дядьку с тёткой скалятся — сущий волчонок, а подрастёт, глядишь, и против Москвы вызверится. Нет, надо прибираться к рукам пока не поздно. Сегодня же настоять на словоре.

Под столом у самых её ног собаки затеяли свару, и беспечные хозяева не пытались их приструнить (так бы и пнула какую, да страшно, вдруг укусит), обрадовалась, когда князь Иван сказал:

— Ну, княгинюшки, отдыхайте без нас до обеда. А мы с братом пойдём ко мне в опочивальню.

Слуги поспешили к нему, помогли подняться. Он опять отстранил их, обнял брата, и они побрели к дверям. Княжич Иван было пошёл следом, но дядя остановил:

— Ты, братич, останься. Нам с глазу на глаз надо потолковать.

— Останься, сын, и подружись с моим тёзкой.

Рязанского княжича звали Василием. Двоюродные братья нарекли сыновей в честь друг друга. Уже второе поколение рязанских и московских князей жила в дружбе.

К обеду, накрытому в гридне, пригласили переяславских бояр, епископа, несколько именитых татар, ещё какую-то оказавшуюся в ту пору в городе рязанскую знать. Принарядили суженых, посадили рядком, сразу же положили перед ними большой и самый красивый пряник.

Анна любовалась напечатанным на нём узором: розовым цветком и белой, как снеговик, боярышней. Цветок ей казался похожим на тот, что промелькнул утром у дороги, а боярышней, конечно же, была она в праздничном наряде.

Суженый тоже поглядывал на пряник и, не дохлебав ботвиньи, вдруг схватил его, взломал косо.

— Не ломай! — запоздало воскликнула Анна.

— Ишь ты! Одной тебе что ли подали, — прошамкал суженый, пережёвывая обломок, и, отломив ещё кусок, швырнул Анне: — На, подавись!

Тогда она его огрела ложкой. Суженый плеснул на неё остатками ботвиньи.

— Да господи! Да боже мой! — вскричали в лад княгини. — Ведь не голодные же! — и, подбежав, наградили своих любимцев тумаками.

— Митька, тащи ещё пряник! Нет, два тащи!

— Не надо мне пряника. Не люблю есть пряники, — плакала Анна. — На нём узор прелестный. Глядеть любо.

— Вот так всегда, — жаловалась княгиня московская рязанской, когда детей посадили порознь, — красивые кушанья

не ест, жаворонки там печёные, пироги ли, яблоки,— любит-ся. «Жаль есть,— говорит,— красу такую». А всё отец виноват,— перешла она на шёпот,— приучил во всё вглядываться. Гуляет с ней и велит всё ему рассказывать. И с тех пор, как сам незряч, во всё ему красота чудится. Намедни застала их с Анюткой под липой. Цвет обрывали. А он и говорит ей: не только-де цветки эти полезны да духовиты, посмотри, говорит, как хороши они. Из тычинок одних составлены, а были бы поболее, глаз от них не оторвал бы. Врагов вокруг него полно, ему бы с ними расквитаться, а он о тычинках каких-то вспомнил.

— Мой тоже переменялся,— притиснулась княгиня рязанская ближе, жарко задышала Марии Ярославне в ухо. — Постричься в монахи хочет. — «Может,— говорит,— постригусь— полегчает, отпустит хворь». Да где её отпустить,— княгиня утёрла глаза,— не отпустит. А мне через месяц родить. Хорошо ли, когда у младенца отец в монастыре?

Принесли ещё пряников, но уже с другим узором, с птицами Сирином и Алконостом. Потеснили енды и миски с гречневой кашей, рубленными яйцами заправленной, с жареной рыбой, с перепелами в сметане.

— А и в самом деле, хороши у тебя пряники, сестрица. Надо бы узор переснять. — Мария Ярославна отломил у одного краюшек, спросила, смакуя: — На меду или на патоке?

— Старинные доски, бабонькино благословение,— объясняла княгиня рязанская польщённо. — Я подарю тебе — доски.

— Сама с чем останешься? — засовестилась Мария Ярославна.

— Да у меня их много, и в огне не горят. Вот ведь большой пожар был, с полгода тому. Вся худоба сгорела, все шабалы, все половички да утиральнички...

— А как же те, что во дворе, сказывала, висят? Ну что от блох выжариваются? — не утерпела, вмешалась Анна, сидевшая теперь по левую руку от тётки.

Мария Ярославна улыбнулась выжидающе, а княгиня рязанская, густо заалев румянцем, крикнула:

— Эй, Митька, доски пряничные нам тащи! С полдюжины, что поцелее.

— У нас так же было,— начала Мария Ярославна, погрозив Анне пальцем — молчи, княгини да боярыни за столом примолкли, прислушиваясь. — Когда Москву затрясло, терем наш — в щепки. Утварь вся побилась, изломалась, а махоточка глиняная, от старости щербатая, цела-целёхонька. С нею и к свекровушке двинулись на Ваганьково, у неё хоромы уцелели, а посуда вся — в черепки. Махоточка эта и сгодилась.

— Вот страху-те, наверное, натерпелись. Мы и то думали, конец света пришёл, когда у нас тут стены зашатались, да и подсвечник по столешнице пополз... А так ведь всё обошлось.

— На Скоморошей горе,— напомнила боярыня, что сидела подле Анны,— у скомороха Петьки Смородины хлевушек только и развалило. Скотину, сказывали, придавило.

— Ах, да какая у скомороха скотина! Козы, чай, одни,— Мария Ярославна слизнула с пальцев сметану.

Митька внёс оберемок досок.

— Куда их?

— Куда! Не на стол же! Клади на пол.

Гости оторвались от перепелов и карасей, вслед за великими княгинями вышли из-за стола полюбоваться досками. Восхищались громко, преувеличенно, чтобы польстить своей княгине, рязанской, да и чтобы московская гордячка не подумала, будто ей рухлядь какую всучивают:

— Хороши, ах, диво, как хороши! Ни на одной узор не повторяется. И письмена по кайме. Мастера-то у нас — грамотей.

Анна к столу не вернулась. Осталась разбирать доски. Примостилась рядом с ней одна блохастая собака, потом — другая. Анна показывала им доски, подносила прямо к тёмным влажным носам.

— Смотрите, смотрите, какой многоглавый город. Какие окошечки у домов затейливые, решётчатые. А на крыше островерхой — петух! Видите?

Собаки моргали коричневыми добрыми глазами и смущённо отворачивались.

За столом продолжалась трапеза. Тянулась неспешная застольная беседа. Князь Иван едва сидел, но этого никто не замечал. Хмельные мужчины хулили новгородцев, литовцев; забывшись, пару раз ругнули ордынцев, татары прикинулись, что ничего не слышали; говорили об охоте на вепря: налились овсы, пора на деревьях близ них мостить повети, чтобы караулить зверя. Женщины обсуждали средства против моровой язвы: от синих болячек, коль они на теле объявятся, спасения нет — через три дня хворый умирает, от красных можно излечиться, если днём и ночью к ним красные же тряпицы прикладывать, мокрые, конечно.

— А старшенькому моему икона помогла чудотворная, — рассказывала княгиня московская громко, стараясь перекрыть гул мужских голосов. — Тряпицы неделю прикладывала, извелась вся — не легчает. Спасибо старушке пришедшей, надоумила на огороде в мусорной куче покопать. Покопали — святая Анна в холстину конопляную обернута...

Суженый сыпал в малиновый кисель себе, отцу, дяде ложку за ложкой соль, и никто не замечал. Даже то, что он столкнул солонку на пол, углядели только собаки.

Анна спала под столом, обняв теремную доску, и снился ей многоярусный белокаменный город на берегу незнакомой реки.

3

Осень покатила за Покров. Уже отвьюжили на мостовых пёстрые хрусткие листья, бурыми сугробами притулились к заборам и завалинам. Вениками-голиками темнели деревья, и